# 167.

**А. Ф. Воейкову**

*<10—12 (?) июля 1814 г. Муратово>*

Пишу к тебе не для того, чтобы я считал это слишком нужным для *тебя*, но для того, что *мне* нужно сказать искренно свое мнение. Вперед уже говорить его не удастся; наше *вместе* с тобою кончилось и, вероятно, на всю жизнь. Дело здесь идет не о расчетах касательно дружбы; а о том, что важнее: о *вашем* семей-

ственном согласии и спокойствии.

Вчера на вопрос Саши: *ты знаешь, что Воейков тебя любит*, я отвечал: *не знаю*! Если бы она спросила это у меня при первом твоем отъезде из Муратова или при первом твоем возвращении в Муратово, я отвечал бы: *верю*. Но верить еще не есть знать*.* Верить можно и без доказательств. Тогда, однако, я имел много причин *верить*: приезд нарочный ко мне издалека1, жаркое участие во всем, что принадлежит до меня, — кажется, доказательств довольно. Но признаюсь, и тогда меня этот жар несколько удивлял. До того времени между мною и тобою не было жаркой, исключительной дружбы — была одна дружеская связь молодых товарищей; вдруг такой скачок к дружбе меня удивил, но вместе обрадовал, и я поверил.

Можно ли было принять жарче тебя участие в моей привязанности к Маше? Можно ли желать сильнее тебя, чтобы она была моею? — по крайней мере, так мне казалось! Стихи и проза — всё за меня ополчилось! С этим духом

отправился ты и в Петербург2 — там привел в движение всех друзей, и своих, и моих! Всё было на моей стороне! Ты же советовался и с Ив<аном> Владимировичем, и к *тебе* он адресовал свое письмо!3 Когда узнал о поступке со мною Арбеневой, то едва ли не более моего против нее вооружился — вспомни, что ты писал об ней к Тургеневу4. Сам же на счет мой и Машин был убежден совершенно, первое, тем, что *желал* нашего счастья и говорил, что без него не захочешь и собственного, второе, и самим *мнением*: ибо (тогда) для тебя образ мыслей Екатер<ины> Афан<асьевны> казался суеверным, и в этом ты не колебался нимало. Семейственное счастье казалось тебе возможным только *вместе*

со мною; наши общие планы были прекрасные. Признаться, такая способность к дружбе давала большую доверенность к твоему характеру, который никогда не был мне известен *по опыту.* Но опыт скоро и подоспел. После объяснения моего с Екатерин<ой> Афан<асьевной>5 уже начало мне казаться, что ты как будто отделился от меня, — но я не хотел еще давать воли сомнению. Помнишь ли нашу последнюю поездку из Муратово в Орел, тогда, когда мы встрет<или> Плещеевых?6 Дело уже казалось решенным! Трудность склонить Екатер<ину> Афан<асьевну> была очевидна. Я говорил тебе дорогою, что я *решился уехать.*

Признаюсь, в эту минуту мне тяжело было заметить, что и ты на это же решился без большого усилия, — какое несходство с прежним жаром! Я обвинял тебя не в том, что это не *сбылось,* — было бы великое безумство ставить на твой счет то, что от тебя совершенно не зависит. Но для меня больно было не найти в тебе того чувства, которое я имел право ожидать от тебя в таком случае; и в эту минуту сделалось для меня заметнее, что у тебя в душе судьба наша, прежде неразлучная, разделилась. Ты написал к Екатерине Афанасьевне письмо — в котором говоришь обо мне, — сказываешь, что это письмо прекрасное, и на это письмо был тебе ответ прежестокий7. Я этого письма не читал. Но здесь мимоходом признаюсь тебе, что во всех твоих письмах вообще я замечал что-то авторское, приготовленное, неискренное. Во всех чувствительно,

что ты думаешь не об одном читателе, а об читателях. Ты возвратился и нашел меня у Плещеевых. Первое слово твое, сказанное мне, была жалоба *на то,*

*что хотят тебя поработить в лучших твоих чувствах: в 15-летней ко мне дружбе, а второе — несогласие на требование, чтобы ты ехал к Павлу Ивановичу*8. На последнее ты по моему убеждению согласился. А первое было само собою опровергнуто последствием. Жестокое письмо на мой счет имело только то действие, что оно охолодило тебя ко мне, или, лучше сказать, твой наружный вид *дружбы* переменило на холодный, естественный. И во всё время, проведенное с тех пор нами вместе, я не слыхал от тебя ни слова. Живучи в одном доме, мы как будто жили под разными полюсами. И самый твой образ мнений на счет всего, что ты прежде с таким жаром защищал, переменился. Мне говорил ты одно, а с Екатер<иной> Афан<асьевной> другое. После всего этого не имею ли право сказать, что я о твоей дружбе ничего *не знаю*. Было что-то на нее похожее в начале. Согласно с обстоятельствами это *что-то* переменилось на *ничто*. То

есть теперь и того не осталось, что было между нами до твоего приезда в Муратово. Тогда я мог видеть в тебе если не избранного друга, то по крайней мере товарища молодости — современника поддевических счастливцев9; теперь вижу

совсем другого, нового, надевающего и снимающего, смотря по времени и обстоятельствам, маску по мерке: прежнего Воейкова нет на свете! А теперешний мне чужой!

Вот всё, что я имел тебе сказать о твоей ко мне дружбе — но это не главное. Мне горестно увериться, что она мечта, но я от тебя не завишу, судьба моя вся слажена. Мое решено, и для меня перемены быть не может. Хуже со мною не может уже ничего случить<ся>, а лучшее еще возможно, благодаря <тому что?>, я не заслужил несчастья. Будущее в руке Провидения, которому теперь верю, тем более верю, что знаю на опыте, как оно не обманчиво и как *обманчивы бы-*

*вают люди*. Остается сказать о главном, о *твоем* характере, который несколько удалось мне рассмотреть, видя тебя вблизи. Он пугает меня, потому что от него зависит счастье тех, которых люблю наравне с жизнью, и вот почему и мое счастье много связано с твоим.

Или ты никакого не имеешь характера, или в тебе совсем нет прямодушия. Одно из двух. По крайней мере, многое заставляет меня сомневаться в последнем. И если бы надобно было выбирать, я бы выбрал скорее *бесхарактерность*, которая всё еще может быть согласна с добротою сердца, нежели *лицемерие*, которое всегда есть маска дурного. Вот мои доказательства. Ты совсем не имеешь никакой искренности в обхожд<ении>. С Екат<ериной> Афан<асьевной> в гостиной ты совсем не тот, как во флигеле. Согласен, ее собственная неискренность может и тебя делать принужденным; но она никогда не может оправдать притворства. Твои чрезмерные к ней ласки в ту самую минуту, когда ты противу нее огорчен, меня ужасают; твои нежные поцелуи в то время, когда ты в душе своей имеешь что-то похожее на отвращение, кажутся мне поцелуями Иуды; твои уверения исполнять волю ее и никогда с нею не разлучаться тогда, когда ты почти решился сделать противное, производят во мне отвращение. Помнишь ли тот день, в который ты пришел ко мне в крайней на нее досаде (день твоего отъезда к Арбеневой) и говорил, что ты решился всё разорвать и не возвращаться? Несколько минут разговора тебя успокоили. Но что же? Возвратясь к ней, ты начал целовать ей ноги. У меня сердце поворотилось. Сейчас нечаянно развернул я твоего Гесснера и на одной странице прочитал следующее: *несчастье и опыт Авдотьи Николаевны — будут счастьем и опытом для Саши. После матушки — она ей первый ментор и лучший, нежели я и Маша*10*.* После матушки!!! Это замечание написано для Муратова. Авд<отью> Никол<аевну> я не знаю; но знаю, как ты думаешь об *опытности матушки.* Одним словом, всё это жестоко пахнет притворством. Но всего более меня возмущает — твоя религия11. Атеизм сто раз простительнее, нежели притворная набожность. Религия, употребленная как способ понравиться, есть святотатство. Я знаю истинно, что ты не имеешь *той* религии, которую здесь показываешь. Это поразило меня еще и тогда, когда ты прислал сюда свои стихи к моим друзьям, — из Петербурга12. И не ты ли сказал, что нарочно промешкал один день, чтобы быть здесь в день Казанской Богоматери13, ибо так обещал Авдотье

Николаевне Арбеневой. Боже мой! какой переворот! Но это язык Тартюфа14. Могу ли после этого и уважать тебя, и верить твоей дружбе. И такое притворство не должно ли заставить меня ужасаться всего для Сашиной судьбы! Какого ей ожидать счастья, когда в тебе нет искренности! Разве в счастье можно быть прямым, когда дойдешь до него ползком? А ты ползешь или, что всё равно, носишь маску. Религию дóлжно иметь, а не употреблять ее как средство привлечь на свою сторону — это и для нее, и для самого себя унизительно. Всего благороднее и надежнее прямодушие. Что же касается до твоей твердости в намерениях и образе мыслей, то довольно и одного примера. Твое истинное, или, лучше сказать, назвавшееся истинным мнение насчет моей прив<язанности> к Маше мне известно. В Петербурге ты только утвердил его и, возвратясь, усилил собственную мою надежду; здесь начал колебаться и почти потерял убеждение; письмо Ив<ана> Владимировича переменило в мою пользу; помнишь

ли, что ты мне говорил при отъезде к Арбеневой о разговоре с Екат<ериной> Афан<асьевной>. *Ты сказал ей, что имеешь письмо от почтенного человека, которое покажешь после свадьбы.* (NB. Но ты не объявил от кого, и она думала,

что это письмо от Авд<отьи> Петр<овны>.)15 Побывав у Арбеневой, ты называешь Ив<ана> Владим<ировича> сумасшедшим и твердишь Саше, что положения соборов неприкосновенны16 (что я собств<енными> ушами слышал),

совершенно противное тому, что ты ей говорил прежде. После этого спрашиваю, чего же ты желаешь решительно? Признаться, не могу найти на это ответа. Если бы ты был всегда *против меня* просто и искренно, мог ли бы я на тебя жаловаться. Дружба не принуждает к измене правилам. Но такая переменчивость — смотря по времени и месту — неужели она не есть унижение характера. Я уверен, что ты не осмелился сказать и Арбеневой своего настоящего мнения на счет наш, но что ты и ей сказал то же, что и Екатер<ине> Афан<асьевне>, то есть противное тому, что говорил мне: *не знаю! не думаю, чтобы было позволено*. Послушай: если бы и ничего не удалось тебе для меня сделать (могу <ли> требовать невозможного), всё бы я остался тебе благодарным, и дружба наша могла бы существовать, ибо ты показал бы мне прямое участие, был бы одинаков и неизменчив. Мы бы сожалели вместе о неудаче, и я был бы тебе обязан мнением Саши, покоем их всех и знал бы, что Маша имеет в тебе верного утешителя и друга; но теперь — ты переменил свою дружбу ко мне и свое

сердце для всех и каждого; счастье Саши кажется мне неверным, ибо я не имею доверенности ни к прямодушию твоему, ни к постоянству, а для Маши не вижу никакого утешения. Как же нам оставаться друзьями?

Я выпишу для тебя ту мысль, которую возбудила в моей голове твоя поездка к Арбеневой и которую только что подтвердило твое возвращение. «Самая верная дорога к цели есть *прямая*»17.